
Т. А. СЫСОЕВ

СКУКА И ЛЕНЬ: ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В статье анализируется и сопоставляется морально-философское содержание лени и скуки. Предпринята попытка показать, что скука и лень неразрешимы, что оба этих состояния связаны с особым опытом переживания «пустого» времени в утратившем всякий смысл и значимость мире. На основе ряда философских текстов автор статьи приходит к заключению, что лень, вырождающаяся в скучание, может как привести к прорыву в моральное, ответственное бытие, так и, наоборот, – пресытив субъекта праздностью, подготовить почву для апофеоза бессмыслия и падения в нигилизм.

Ключевые слова: лень, скука, уныние, отчуждение, нигилизм.

The article analyzes and compares the moral and philosophical content of laziness and boredom. An attempt is made to show that boredom and laziness are indissoluble and that both of these states are associated with a peculiar practice of experiencing 'idle' time in the world that has lost all meaning and significance. On the basis of a number of philosophical texts, the author comes to the conclusion that laziness degenerating into boredom can lead to a breakthrough to moral and responsible existence, or, on the contrary, – having fed up a subject with idleness, prepare the ground for the apotheosis of nonsense and a fall in nihilism.

Key words: laziness, boredom, despondency, alienation, nihilism.

Скука – феномен «многоэтажный». Она проявляется и в социокультурной, и в биопсихической, и во внутренней, экзистенциальной стороне жизни человека. Скука в пределе есть определенная обращенность во время, его опустошающее переживание; она, как пишет М. Хайдеггер, есть «времячувствие», или фундаментальное «отношение ко времени» [Хайдеггер 2013: 136]. Немецкий философ дает апофатическое определение состоянию скучания – «томительно тянущееся, бессодержательное; оно не возбуждает и не про-

буждает, *ничего не* дает, ему *нечего* сказать нам, оно *никак* нас не затрагивает (курсив мой. – Т. С.)» [Хайдеггер 2013: 142].

Открывая любой словарь, можно без труда заметить, что дефиниция скуки почти всегда семантически синхронизируется с ленью: толковый словарь Д. Н. Ушакова дает такое определение скуке: «томление, тягостное душевное состояние *от безделья, отсутствия занятий* или от отсутствия интереса к окружающему (курсив мой. – Т. С.)»; словарь С. И. Ожегова: «томление от *отсутствия дела* или интереса к окружающему. Томиться скукой... Отсутствие веселья, занимательности (курсив мой. – Т. С.)»; словарь В. И. Даля: «тягостное чувство, от *косного, праздного, недейтельного состояния души*; томление бездействия (*Праздность скуку любит*) (курсив мой. – Т. С.)».

Известно, что тягостное ощущение своей невстроенности в жизненный ритм (то есть скучание) И. Кант прямо связывал с ленью: «Всякий отрезок времени им (то есть людям бездействующим. – Т. С.) кажется слишком длинен, *поскольку в нем им нечего делать* (курсив мой. – Т. С.)» [Кант 2000: 152]. Философ отмечал, что всякая медлительность есть как бы уменьшение жизни – ее деградация, отпадение от бытийственной целостности, а значит, и преодоление этой безжизненности – задача, требующая целенаправленного и рационализованного усилия. Итак, ясно, что скука и лень взаимообращены, однако качество этой связи требует отдельного анализа. Прояснение их феноменального «родства» не только позволит расшифровать переживание ленивого в его сопоставлении с категорией времени (в ситуации особенной встроенности духа в не ухватываемую и не препарированную рассудком длительность), но и высветит неоднозначную с моральной точки зрения природу лени в ее скучающем модусе. В первую очередь, чтобы хотя бы эскизно обозначить специфические моменты переживания скуки и лени, дадим краткую этимологию и типологию скуки, опираясь на сложившиеся философскую и психологическую традиции.

Этимология и типология скуки

Человек, утомленный трудом или его отсутствием, застигнутый врасплох безликостью материального мира, досадливо пресыщенный впечатлениями, благами, коммуникацией, теряет сущностную

нить – интерес, обеспечивающий осмысленную направленность взгляда вовне: на мир и на Другого. Интенсивность восприятия уменьшается, движения становятся вялыми (словен. *léna*, этимологически связанное с «ленью», означает «вялый»), тело как бы умягчается (лат. *lēnis* – мягкий, нежный, кроткий); оно перестает сопротивляться потокам времени, которые в конце концов уносят человека в недра скуки, где та уже с налетом восточной деспотии удерживает его, не давая подняться на поверхность, задышать, расправить плечи, принять вертикальное положение. Уставшая от жизни (*taedium vitae*) личность переживает опыт пустого, косного, «безвкусного» бытия¹.

Репрезентативно, что глагол «скучать», согласно этимологическому словарю М. Фасмера, образовался от общеславянского корня «скука» – производного от «съкукати», «кукати» – горевать, плакать. «Кукати» образовано от звукоподражательного «ку» и поначалу обозначало «кричать» (однокоренные слова – «докука» [знач. – надоедливая просьба], «кукаться»). Таким образом, за «скукой» неявно закреплен следующий ассоциативный ряд: плач, крик, горе, нечто надоедливое. Только скука может быть «смертельной», «ужасной», «тягостной», «невыносимой», выбивая из-под ног все подпорки, срывая с мира «пелену майя» и обнажая перед индивидом такую действительность, которую невозможно ни взвесить, ни описать.

Скука сварлива: она еле заметно и монотонно сверлит (англ. *to bore*, отсюда – *boredom*) сознание, со всех сторон обступает и теснит человека (согласно этимологическому словарю М. Фасмера, «скучити», «скучим» по-сербохорватски означает также «теснить, поставить в затруднительное положение»). Особенный интерес вызывают немецкий и французский эквиваленты понятия скуки. Немецкое слово *die Langeweile* (дословно – скука, нудность) трактуется как «состояние незаполненности и бедности переживаний, их недостаток, однообразие, повторяемость и монотонность

¹ «Как, однако, ужасна скука! – ужасно скучно. Я не знаю более верного, более сильного определения, ибо подобное познается подобным. Если бы нашлось более точное и сильное выражение, в нем было бы хоть какое-то движение. *Я лежу вытянувшись, неподвижно; я вижу только пустоту, я двигаюсь в пустоте. Я не ощущаю даже боли* (курсив мой. – Т. С.)» [Кьеркегор 2011: 63].

раздражителей в окружающей среде или состояние вследствие внутреннего безразличия и пустой фантазии» [Глебкин 2015: 41]. Семантическое ядро французского слова *ennui* (дословно – скука, тоска, огорчение, неприятность, досада) «выражается испытываемым человеком чувством раздражения и неудобства, которое вызывается внешней ситуацией, внешним для него событийным контекстом. Чаще эта ситуация бывает довольно протяженной, но условие протяженности не носит обязательного характера. Ключевой параметр здесь – не длительность, а болезненность воздействия» [Там же: 42]. Таким образом, если *ennui* акцентируется на внутреннем, экзистенциальном переживании скучания (*ennui* ориентировано на субъект), то *Langeweile* смещает фокус на внешнюю среду, которая буквально навязывает индивиду скуку (*Langeweile* ориентировано на внешнюю среду).

Кроме того, существует гипотеза, согласно которой английское слово *spleen* (селезенка, хандра, раздражение) и французское *ennui* своими корнями уходят к латинскому *acedia* (производное от греческого ακηδία – беззаботность, беспечность, небрежность, уныние, скука, равнодушие, лень), которое, в свою очередь, этимологически связано с *acida* – кислый (в итальянском языке испорченное вино – уксус – *acedo*): у скучающего, как говорят, «кислый вид». Л. Свендсен указывает на то, что французское *ennui* и итальянское *noia* имеют общий исторический корень в латинском слове *inodiare* – ненавидеть, питать отвращение [Свендсен 2007: 32].

Итак, зафиксируем, что языковое функционирование концепта «скука» находит свое выражение в переживании субъектом утраты смысла, прочности экзистенции, безвременности – открытия времени как чистой длительности. Через пробитую брешь немедленно «вползает» бытие монотонного. Скука рождается под напором внешней среды, нудной и бессодержательной (опыт немецкой культуры), или же через призму внутренних метаморфоз – в дискомфорте и раздражении, беспокойстве и болезненности восприятия (опыт французской интерпретации). И тогда человеческий дух как бы окисляется, взгляд становится равнодушным, движения – небрежными, любой позыв к действию и движению вызывает отвращение, умонастроение наполняется унынием, и тогда скука обеспечивает непроницаемую оболочку, внутри которой вынаши-

вается и возвращается лень. Важно отметить, что именно через скучание лень переживается человеком болезненно, как томительная эмоциональная опустошенность, жизненная неприкаянность.

Обращаясь к типологии скуки, в первую очередь стоит вспомнить о плодотворных наработках М. Хайдеггера. В курсе лекций, прочитанных им в 1929–1930 гг., философ выделил три формы скуки: *скука от чего-то*, *при чем-либо* и *скука в целом*. Второй и третьей форм скуки мы специально коснемся позднее. Первый же тип скуки как раз раскрывает специфику интерпретации этого состояния в рамках немецкой культурной традиции.

Хайдеггер приводит простой пример. Представим, что человек оказался на скромном провинциальном вокзале. Он ожидает свой поезд. Местность вокруг – непримечательна; в рюкзаке лежит книга; ее можно достать и начать читать, чтобы скоротать время, отвлечься, но не хочется. Можно было бы обдумать важный вопрос, однако мысли насмешливо уворачиваются ото всех рассудочных потуг. Время тянется ужасно медленно, и человек, чтобы хоть как-то его «сжать», начинает читать и перечитывать безо всякой цели расписание поездов, с болезненным вниманием осматривает территорию, затем, выждав, как ему кажется, достаточно, вновь смотрит на часы – прошло только 15 минут. Времени снова слишком много. Человек идет на проселочную дорогу, бесцельно оглядываясь, берет в руки палку и начинает сшибать ею головки цветов. Снова смотрит на часы – все еще хуже: прошло только пять минут. Начинает считать деревья вдоль дороги, но вскоре утомляется совсем и обреченно садится на камень. Берет в руки палку, чертит на дороге какие-то фигурки, а затем вдруг ретроспективно осознает, что несколько мгновений назад украдкой, бессознательно посмотрел на наручные часы [Хайдеггер 2013: 155].

Скука здесь прорывается к субъекту, когда он оказывается на «обочине» бытия, вне привычного жизненного ритма. Тогда мир и вещи вступают с ним в своеобразный диалог, но человек как бы отмахивается от него и всеми силами пытается вернуться обратно – на магистраль понятного и привычного бытия, где время подчинено аккуратно записанной сетке событий на настенном календаре. Здесь же время становится тираном, оно давит своей

пустотой, его просто становится слишком много, так что мы не знаем, куда его деть.

Любопытно, что такая навязываемая извне скука перекликается с религиозно-аскетической традицией, которая, как правило, характеризовала подобное состояние как «уныние», насылаемое на подвижника «полуденным бесом». Христианские отшельники, судя по дошедшей до нас аскетической и агиографической литературе, все без исключения сталкивались с этим «духовным существом». В отрешенном подвиге на голых пространствах пустыни, среди «марсианского» ландшафта, под лучами безжалостно палящего солнца аскеты с головой погружались в бытие монотонного, и когда солнце достигало зенита, будто бы застывая в этой точке на веки вечные, пробуждался «полуденный бес».

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, раннехристианский аскет и подвижник, так описывает искушения, которыми испытывал этот «бес» монаха. Отшельник вдруг начинает терзаться сомнениями, что «он не может спастись, что стоит оставить келью», ощущает необычайное «ослабление тела и голод», будто бы он утомлен после длинного пути или же перенес многочасовой каторжный труд; подвижник начинает «беспокойно озираться, вздыхает... часто то выходит, то входит в келью» [Иоанн Кассиан Римлянин]. «Таким образом, – резюмирует Иоанн Кассиан, – в таком неразумном смущении духа, как будто земля покрылась мраком, [он] пребывает праздным, не занятым никаким духовным делом, и думает, что ничто не может быть средством против такой напасти, кроме как посещение какого-либо брата или утешение сном» [Там же].

Монах под беспощадными ударами этого «беса» делается подавленным, беспокойным, его душит тоска, он становится вялым и бездейственным. Пустыня вокруг проникает вовнутрь, провоцируя ситуативную духовную лень. Такая скука – реакция на резкое (или продолжительное) понижение степени новизны; привычная и до тошноты знакомая окружающая обстановка переключает сознание в режим одного пассивного и поверхностного (курсивного) «чтения», не стимулирующего движение мысли. Эта интеллектуальная летаргия – своеобразная гносеологическая фрустрация, которая утапливает интерес и вызывает ощущение перманентного

«провала», медленно утягивающей воронки. Выбраться из этого состояния человек способен только при помощи экстраординарного личностного акта или в случае резкой смены окружающей среды, как это было, например, с многолетним пациентом «Волшебной горы» Гансом Касторпом.

Примечательно, что в самом состоянии скуки немецкий психолог Мартин Дольманн предлагал различать три вида: *ситуативную скуку*, о которой мы уже говорили выше, *скуку разочарования*, которая приходит, когда страстно ожидаемое событие в итоге оборачивается банальностью, и *экзистенциальную скуку* – ощущение абсолютной бессодержательности повседневности [Свендсен 2007: 57]. Последняя, как мы вскоре увидим, как раз в наибольшей степени связана с ленью. Важно, как замечает исследовательница меланхолии Карин Юханнисон, различать (но помнить при этом и об их близости) экзистенциальную меланхолию, которая сопряжена с бунтом, и скучание, которое не предполагает столь резкой и болезненной реакции; в последнем ученый усматривает также два не сводимых друг к другу типа: скуку экзистенциальную и обычную [Юханнисон 2011: 137]. То, что переживает зевающий в лекционном зале студент, не имеет ничего общего с тем, что ощущает тотально и трагически пресыщенный жизнью автор Екклесиаста или герой романа С. Кьеркегора «Или – или».

Исторически экзистенциальная скука приобрела хорошо известные социальные формы, особым образом маркируя отличительную черту бравировавшего ею индивида, – его влияние, демонстративную праздность, утонченный интеллект, особый жизненный стиль. Ее носитель – это личность, способная подняться над безликой массой отчаянно сражающихся за свой кусок хлеба людей; заочно она уже ото всего устала – она знает, чем кончится всякое начатое дело, и этим обеспечила свое легитимное право на лень: снисходительно и утомленно она взвесила все человеческие «ценности», задающие цели для деятельности и усилий, и на манер ветхозаветного мудреца печально им усмехнулась: «То суета, и это суета». Отсюда и привычные атрибутивные свойства скучающего человека: ирония, цинизм, дендизм, фланерство, подчеркнутая светскость, легкомыслие – и в целом его парящее скольжение по пейзажу своей и чужих судеб. Недаром те же иногда крайне противоре-

чивые сентенции Екклесиаста (см., например: Еккл. 1:3/9:10; 21:1–2/8:15) навели американскую исследовательницу Каролину Шарп на мысль о том, что автор сакрального библейского текста просто иронизирует над своим читателем, что он, дистанцировавшись от драмы борьбы и упорной экзистенциальной жажды «стать», воспринимает мир и человека с насмешкой, сознательно отказываясь запечатлевать истины о жизни, финал которой неумолимо окажется пустым, суетным, тщетным [Sharp 2004: 51].

Наконец, согласно А. Шопенгауэру, скука настагает человека, когда он осознал, что все его желания удовлетворены, и воля как бы растерянно «разводит руками», не обретая для себя больше новой цели/объекта, или же, что безусловно является более глубинным случаем, когда человек вдруг с ужасом усматривает изначальную прозрачность всех внеположенных целей, понимает, что удовлетворить внутреннюю жажду за счет реализации всех мыслимых устремлений принципиально невозможно [Шопенгауэр 1993: 62]. Тогда, добавим мы ко второму случаю, активная жизненная позиция и в общем труд ценностно коллапсируются, утрачивают значимость, смысл.

Итак, резюмируя, скажем, что феномен скуки условно распадается на две составляющие: ситуативную, в рамках которой лень спорадична, мимолетна, непродолжительна, и экзистенциальную – глубинную, длительную, в рамках которой лень приобретает черты устойчивости, нарастающей интенсивности, онтологической плотности. Примечательна и реакция на эту скуку: она наиболее болезненная, стремительная, суетливая, до наступления разрядки бессмыслия, которая инфицирует субъекта неизлечимой усталостью. «Нет ничего столь невыносимого для человека, – писал Б. Паскаль, – как пребывать в полном покое, без страстей, без дел, без развлечений, без занятий» [Паскаль 1995: 260]. В этих словах, собственно, заметно переживание скуки как полного и невыносимого покоя, как застигшей врасплох лени. «Он ощущает тогда свое ничтожество, свою покинутость, свою недостаточность, свою зависимость, свое бессилие, свою пустоту» [Там же]. И чтобы избежать этого ужаса полного покоя и бесчувствия, человек беспорядочно принимается за дело: аскет думает покинуть келью, найти собеседника или вовсе вернуться в мир; обыватель бросается в ресторан, на са-

молет или же прочь от наскучившей семьи. Главное – зафиксироваться в новом/«свежем», остепениться на каком-то основании, *занять* себя чем-то, заполнить (вспомним этимологические подсказки) «кусающуюся» пустоту, унять тоскливое сверление замершего и безымянного мира вокруг. Однако такая активная стратегия – нарочитая занятость, увлекающая развлечением из тягостной лени безвременья, – обречена, как подсказывает Паскаль, на провал: «Единственное, что утешает нас в наших несчастьях, – это развлечение. А между тем развлечение – величайшее из наших несчастий. Это оно больше всего мешает нам думать о себе и незаметно нас губит. Без него мы стали бы скучать, и скука заставила бы нас искать более надежного средства от нее избавиться; но развлечения нас забавляют и позволяют приблизиться к смерти незаметно» [Паскаль 1995: 184].

Кошмар наших всевозможных занятий заключен в них самих: у них тоже есть срок годности, по истечении которого они надоедают. И здесь либо дальнейшее бегство с горьким внутренним чувством, что и у этого рывка наступит разрядка, либо радикальная переориентировка целеполаганий, на чем и настаивает Паскаль («надежное средство»): здесь мы и подходим к центральной моральной проблеме скуки и лени.

Экзистенциальная скука – бездонна, а потому на пределе ее переживания человек разрывается между двумя крайними точками: одна из них дает надежду на прорыв к смыслообразующему пути, а другая раскрывает перед индивидом провал в окончательное разочарование, за которым всякая ценность девальвируется и открывается безрадостная перспектива суицида, вялого, поглощенного ленью угасания или изошренного и безжалостного садизма – такова здесь изнанка требования об экстраординарном усилии, – о чем напоминает И. Кант: «Скука как отсутствие ощущений, которое человек, привыкший к их смене, замечает в себе, стремясь чем-нибудь занять свой жизненный импульс, часто оказывает такое действие, что он чувствует себя побужденным лучше сделать что-нибудь себе во вред, чем ничего не делать» [Кант 1980: 475]. Рассмотрим подробнее оба этих сценария.

Первый сценарий: нигилизм

Первая обозначенная нами «точка» – провал в ничто – моделирует развращенную, вседозволенную и неконтролируемую личностную установку, внутри которой субъект демонтирует вертикаль ценностей и горизонталь интересов. Литературным воплощением такого модуса существования стал Ставрогин – «царь равнодушия», как его окрестил А. Камю. Его инертность и праздность постепенно подточили волю, которая за неимением лучшего ввела через него в мир «беса» – изящную, утонченную, нигилистическую натуру. Сакральное здесь упраздняется, и остается лишь сухая и мрачная устремленность к разрушению, к неистовству, так что отца Тихона после прочтения исповеди Ставрогина «ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость» [Достоевский].

Подобное «нарочитое» праздное существование, оформленное человеком гедонистически, этически перекликается с феноменом удовольствия. Стремление к удовольствию, став основополагающим принципом жизненной парадигмы, «развязывает» человека, делает его все более слабым и податливым. Любое предъявляемое извне должностное воспринимается им как угроза, как тяжелейшее бремя, которое кажется ему совершенно непосильным и, более того, просто ненужным. Воля такого человека становится все более ленивой; перед лицом нравственного выбора, ответственности он пасует. «Для сориентированного на удовольствие сознания, – пишет Р. Апресян, – не существует трансцендентного должного: должное обнаруживается в грезе, в сладострастии и оказывается сведенным к нереализованному наличному – к желанию» [Апресян 2001: 503].

В письме Н. А. Любимову (март – апрель 1872 г.) Ф. М. Достоевский оставил следующую характеристику своему герою: «Клянусь Вам, я не мог не оставить сущности дела, это целый социальный тип (в моем убеждении), наш тип, русский, человека праздного, не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным и, главное, веру, развратного из тоски, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтоб обновиться и вновь начать верить» [Достоевский 1996: 493].

Действительно, утрата смысла погружает человека в праздность «не по желанию», которая обеспечивает вялотекущую, вяз-

кую атмосферу тоски и скуки. Они разворачивают и расшатывают внутреннюю вертикаль моральных ценностей, а это уже открытый пролог к нигилизму. *В мире, где Бог умер, скучно*. Скучно не потому, что Бог до Своей безвременной кончины обеспечивал пестроту жизнеощущения, а потому, что отсутствие любого смысла (в том числе и смысла сакрального) обесценивает какую бы то ни было деятельность, движение мысли. Стоит ли повсеместная пустота преодолений, самоограничений, рефлексий совести? Вопрос риторический. Если любое направление внутри обесцененного пространства изначально обречено на аннигиляцию полученных результатов, значит, дабы не согрешать против здравого смысла, необходимо отказаться от деятельности как таковой. И потому даже неистовство Ставрогина – уже не отчаянный вызов скуке, а своеобразное буйство сонного, бесцельная и праздная жестикуляция. Что такое неистовство нигилиста, если не высвобождение перелившейся через край праздности? «Убийство ради убийства не рекомендуется. Но оно входит как составная часть в наивысшую для романтиков ценность – неистовство. Неистовство – оборотная сторона скуки», – писал А. Камю [1990: 156].

Почва бессмысленности лучше всего подходит для разрастания на ней лени. «Безориентированное» сознание наполняется скучанием и праздностью, и как только они растворятся окончательно, войдут в «тело и кровь» «мыслящего тростника», его хрупкое тело разламывается. За этим – выжженное фактом утраты интереса пространство жизненных перспектив. Совсем неслучайно П. Анненков сближал Обломова и Базарова в их обоюдном неприятии имеющегося миропорядка и действительности: «У них одинаковый скептицизм по отношению к жизни; как Обломову все казалось невозможностью, так Базарову все кажется несостоятельным» [Анненков 1879: 248]. Так человек становится идейным лентяем. «Леность, оправдывающая себя убеждением в неизменности окружающего, – пишет В. Краус о сущности нигилизма современности, – и сомнением во всем и вся (поскольку любое усилие все равно тщетно), а в других случаях, напротив, устраняющая все сомнения ради ощущения крайнего самодовольства» [Краус 1994: 55]. Мыслитель замечает, что человек XX в. перед лицом гигантской

машины власти или, как писала Х. Арендт, «бюрократического никто», впадает в пессимистический, или летаргический, нигилизм.

Когда индивид осознает свою незначительность, крохотность перед всеокрушающей глыбой огромной репрессивной и политической машины, то он оказывается подверженным упадническим настроениям, ощущению абсолютной безысходности, тотальной апатии: «Сколько бы ни была понятной такая реакция, пассивное безмолвие означает по меньшей мере приближение к нигилизму, и весьма скоро в этой стихии отрицания тонет весь мир» [Краус 1994: 14]. Утрата веры в собственную значительность, в возможность повлиять если и не на ход мировых событий, то хотя бы на свою судьбу, порождающая угрюмую пассивность, во многом перекликается с тем, что христианские аскеты называли унынием. Она задает тональность потерявшемуся в мире без Бога человеку.

Репрезентативно, что американский философ Эран Дофман в своем исследовании «Foundations of the Everyday», говоря об эпохе позднего модерна, в рамках которой скука «демократизировалась», перестав быть собственностью одного только истеблишмента, указывает на произошедший в этот период раскол между повседневностью и событием: первая связана с регулярными и постоянными практиками, с неизменным социальным и городским пейзажем, короче говоря – с фундаментом быта, который потому воспринимается человеком как нечто устойчивое, что гарантированно повторится завтра и послезавтра, тогда как событие воспринимается как потенциальная микроугроза, как такой элемент, который может внести сбой в сложившийся механизм повседневности; однако отлаженность быта приедается и субъект хочет временно расшатать его при помощи легитимированных обществом практик/событий, которые, в свою очередь, быстро ассимилируются и встраиваются в тот же добротный сколоченный каркас быта. Скука в такой системе координат становится фатальной и неизбежной, будущее – предсказуемым, а интерес – еле теплящимся, с каждым днем укореняя вялое, инертное, ленивое существование [Dorfman 2014: 6–7]. Она, добавим мы, углубляется и закрепляется в современном индивиде под влиянием механизации и дигитализации действительности, формирующих саму реальность и ее переживание

как нечто механизированное, алгоритмически заданное и неизбежное, а потому – скучное.

Но не только ситуация обезличенной массы XX–XXI вв. порождает скуку. Сегодня в научном дискурсе то и дело мелькает понятие «эпидемия скуки», которая трансформировала психическую конструкцию личности, что свидетельствует о вырождении нигилизма в разнообразные формы неврозов, деструктурирующие эмоциональную и даже когнитивную жизнь субъекта². Потребительское мироощущение не только приводит его к пресыщению, но и нивелирует в нем переживание личностного, уникального, только ему принадлежащего начала. Эта одинаковость, сглаженность, одномерность массовой человеческой общности находит свое воплощение во всем: от унифицированных размеров одежды до форм досугового времяпрепровождения, воспитывая индивида в ленивой жизненной манере.

Предвещающее нигилизм равнодушие, бытийствующее на топкой болотистой почве скукающей лени, медленно, но верно утягивает человека на дно, где, уже достигнув точки невозврата, он оказывается перед призрачным «выбором»: безмолвно и обездвиженно встретить свой закат или в отчаянном неистовстве совершить кровавый жест, обращенный на самого себя или на уже обесцененного Другого.

Второй сценарий: погружение и прорыв

Во втором сценарии экзистенциальная скука катализирует человека на прорыв из плоскости обыденного, ничем не примечательного, аморфного бытия, на попытку снять разрыв между событием и повседневностью. «Апофеоз беспочвенности» сменяется вдохновенно-болезненным поиском «земли обетованной». В этом раскрывается мощный моральный двигатель скуки и лени; они становятся необходимой «начальной точкой» для нравственного пробуждения, когда наконец рефлексирующая личность до наступления радикального физического конца вступает на путь внутренних фундаментальных реформ. «Суетность мира» осознана, а значит,

² «Структурный голод связан с необходимостью избегать скуки, если скука, тоска длятся достаточно долгое время, то они становятся синонимами эмоционального голода и могут иметь те же последствия» [Берн 1992: 13].

сам индивид хотя бы на мгновение перестал быть «суетным» (Паскаль 1995). И пусть его поиски увенчаются горькой резолюцией «абсурдности человеческого существования», столь дорогой сердцу французского экзистенциалиста: «Когда пустота становится красноречивой, когда рвется цепь каждодневных действий и сердце впустую ищет утерянное звено, то здесь как будто проступает первый знак абсурдности. Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки» [Камю 1990: 29–30], пробуждение состоялось, и это уже шаг.

«Скука является для человека поводом делать нечто большее, чем удовлетворять физические потребности, она – метафизический повод для метафизических движений», – пишет Б. Хюбнер [2000: 71]. Мыслитель рассматривает скуку как пролог к движению, в котором «Я» либо определяется посредством самого себя (Я = Я) – эстетическая деятельность, либо же посредством Другого – этическая деятельность. Таким же в сущности был, как мы помним, и призыв И. Канта: только последовательное и непрерывающееся усилие вытянет человека из ситуации безжизненности скуки и лени. Однако, как нам кажется, «сценарий порыва» поднимает ряд существенных вопросов. Нет ли внутри такого решения – деятельного выхода из скуки – присущей ему ситуации дурной бесконечности, когда за каждым усилием вновь будет проступать скука, еще более усиливаясь на каждом новом витке? Не углубится ли таким образом метафизическая усталость? Не встроена ли скука вообще во всякую деятельность (прибегая к проясняющей метафоре), как ее трагическая тень? Не обернется ли это перманентное движение усилия в какой-то момент осознанием «бегства», в котором все подлинное рассеивается и вновь обнажается тщета, суетность? Ведь об этом нас предупреждает усталый, но умудренный Екклесиаст.

С. Кьеркегор, говоря об отчаянии, как-то заметил, что «если по-настоящему желают отчаяться, то поистине оказываются выше отчаяния; если же по-настоящему выбрали отчаяние, то поистине совершили выбор отчаяния: выбрали самого себя в вечном смысле своего бытия» [цит. по: Больнов 1999: 100]. Не обретается ли свобода от скуки, с одной стороны, и обретение самого себя – с другой, в парадоксальном выборе скуки, в сознательном погружении

в бытие монотонного? Нельзя ли в конце концов заменить в высказывании С. Кьеркегора «переменную» отчаяния на скуку и посмотреть, каким образом зазвучит эта рекомендация датского философа? И здесь на помощь нам приходит типологизация скуки М. Хайдеггера, сознательно оставленная нами выше без проясняющего комментария.

Второй тип скуки – *при чем-то*, который характеризуется бессознательными моментами «провалов» из обыденного течения времени, описывался философом через ситуацию прожитого вечера в гостях. После напряженного рабочего дня, будучи приглашенным на ужин, который сопровождался приятными застольными беседами, он, наконец распрошавшись со всеми, возвращается домой, где его совершенно неожиданно осеняет мысль: «А ведь я скучал на этом вечере, во время этого визита» [Хайдеггер 2013: 180]. Данная форма скуки была узнаваема им ретроспективно – взглядом в прошлое, через рефлексию, путем операции погружения в себя. И именно поэтому данный тип скуки философ называет «наскучиванием, скучанием», потому что она пришла не снаружи – не из внешней среды, – а изнутри, из самого мыслительного акта, который, завершив цикл, обнаружил скуку внутри самого мыслящего субъекта. Она глубже, чем первый тип скуки, потому что настраивает человека на чуткое вслушивание в самого себя; тут он вдруг припоминает, что несколько часов назад иногда нетерпеливо барабанил пальцами по столу, скрывал зевки, поглядывал на часы. То есть в ней есть нечто существенное для самого человека, обуславливающее его возвращение к самому себе.

Однако самая глубокая форма скуки – третья, *скука в целом*. Охарактеризовать ее труднее всего, но в конце концов философ находит для ее прояснения такой пример: «В качестве возможного, но совсем не обязательного повода, который, наверное, кому-то уже знаком (причем здесь нет четкого уловления начала этой скуки, нет резкой “сцепки” с ним), назовем то “скучно”, которое возникает, когда солнечным полуднем идешь по улицам большого города» [Там же: 2013: 217–218]. Непрекращающийся городской шум, движение людей и машин, какофония всеобщей суеты вдруг вступают в контраст с «чем-то» *a priori* безликим – со спокойным течением дня, со стоящим над городской суетой солнцем, замер-

шим светом высвечивающим скрытую за бурлением всеобщей деятельности скуку. И человек, на мгновение ухвативший эту смычку, где городской поток вдруг оказывается схваченным в неподвижном, встречает, вернее, даже погружается в анонимную скуку, в *скуку в целом* – самую глубокую, откликающуюся в индивиде предельной инертностью, сковывающую даже мысль молчанием. О ней не высказаться, ее ничем не заполнить – можно только отратить взгляд, мысленно стереть открывшийся контраст. И именно эта предельная анонимность и неизреченность скуки содержит в себе, как в неподвижной точке сингулярности, всю скуку в целом, во всех ее модификациях, классификациях и проявлениях.

«Спасаться», как считал М. Хайдеггер, от такой скуки беспрестанной деятельностью – значит лишь бесплодно заслоняться от нее. Наоборот, философ предлагает совершить парадоксальное движение к этой скуке, предлагает полностью настроиться на нее, вжиться в ее инертность, последовательно выдержать ее неподвижность, устрашающую сознание анонимность. Процедура эта, конечно, требует особого усилия, постоянной внутренней работы: сознание, предупреждает Хайдеггер, будет рваться назад – к поверхностной, «легкой» скуке; его нужно будет удерживать и последовательно погружать на самое дно скуки до тех пор, пока вся она не станет явной, не проявится в своей односложности, и только тогда из нее можно будет выйти. В противном случае, если мы позволим сознанию подняться наверх, на понятный простор, вписанный, как любил говорить В. В. Библихин, в «сетку расписания», то «спасение» от скуки будет оставаться невозможным: «Когда человек рассеивается, односложность простоты начинает казаться ему однообразной. Однообразие утомляет. Недовольным всюду мерещится отсутствие разнообразия. Простота упорхнула. Ее сокровенная сила иссякла» [Хайдеггер 2008: 393].

Парадоксальным образом феномен скуки для М. Хайдеггера является условием самообнаружения подлинного бытия, своеобразной «точкой», которая разрывает полотно структурированного и кажущегося понятным мира. Примечательно, что Ж.-П. Сартр соглашается в этом с немецким философом, также усматривая в скуке онтологическую основу экзистенции: «Феномен есть то, что себя обнаруживает, и бытие так или иначе себя обнаруживает

перед всеми, поскольку мы можем о нем говорить и в определенной мере его понимать. Следовательно, должен быть феномен бытия, явление бытия, описываемое как таковое. Приступ тошноты, скуки и т. д. разоблачит нам это бытие в его непосредственности, и онтология будет описанием феномена бытия таким, каким он себя обнаруживает, то есть каким непосредственно является» [Сартр 2000: 23]. Что же открывается по ту сторону такой глубинной скупающей медитации?

«Механика повторения», как говорил И. Бродский в своей хвалебной речи скуке выпускникам Дартмутского колледжа в июне 1989 г., – топливо всякой «скуки» – есть главный закон жизни. А потому скуку не одолеть, нагоняя оригинальность, деятельную пестроту. В нее, говорил тогда поэт, вторя немецкому философу, можно только погрузиться и, достигнув дна, осознать главное – здесь нравственное средостение нашего «второго сценария» – свою ничтожность перед лицом открывшейся бесконечности времени, конечную тщетность поступков и свершений, приобретая в этом опыт подлинного смирения [Бродский 1996: 9]. Таким в конце концов был и аскетический опыт в пространстве выжженной пустыни, в каждодневном и рутинном повторении (снова – «механика повторения») практик и молитв, в полном растворении повседневности в событии и, наоборот, в выработке особого внутреннего жизненного стиля и открытии сострадательного взгляда на мир и Другого. То, что в первом сценарии вылилось в вакханалию нигилизма, в неистовый бунт, усиленный переизбытком праздной силы, ушедшей в «нарочитую мерзость», против бесконечного величия времени и тщетности человека перед его лицом, во втором сценарии дает прямо противоположную перспективу: через праздное погружение в скуку, как бы сознательно засыпая в ней и с ней, открывается творческое и нравственное осознание своей тщетности, малости, из которого рождается требование любовной заботы о Другом. «Чем больше вы узнаете о собственной величине, – говорил тогда Бродский, – тем смиреннее вы становитесь и сочувственней к себе подобным, к той пылинке, что кружится в луче солнца или уже неподвижно лежит на вашем столе» [Там же: 11].

Выводы

Таким образом, скука и лень пребывают в глубоком онтологическом родстве; оно укоренено в едином, непрерывном водовороте неструктурированного, неисторического, «пустого» времени, переживаемого личностью в момент скучания. Скука «вползает» в сознание индивида перед лицом монотонного, бессодержательного, всегда «одного и того же» бытия, ослабляя человека, делая его медлительным, вялым, ленивым. Связь скуки и лени усматривается и в этимологическом поле: дефиниция скуки почти всегда семантически синхронизируется с ленью. Также и И. Кант отмечал, что всякая медлительность есть как бы уменьшение жизни – ее деградация, отпадение от бытийственной целостности; преодоление же тягостного состояния ленивого скучания возможно, согласно философу, только в постоянном труде, в ритмизирующей повседневности деятельности, которая возвращает индивида к жизни. На нерасторжимость лени и скуки указывает и религиозный опыт, связывающий эти состояния с грехом уныния («полуденный бес»), в котором человек переживает опыт десакрализации, экзистенциального отчаяния, утрачивая духовную бодрость и веру в наличие божественного замысла, и, впадая в томительную праздность, молитвенно бездействует. Скучание обворовывает моральную привлекательность труда, делает его утомительным, невыносимым, безынтересным, обеспечивая «субстрат» для лени.

Очевидно, что лень, вырождающаяся в экзистенциальное скучание, может привести как к прорыву в моральное, ответственное бытие, так и, наоборот, – пресытив субъекта праздностью (не по желанию), подготовить почву для апофеоза бессмыслия и падения в нигилизм. С одной стороны, длительный опыт утраты смысла может нравственно опрокинуть субъекта. В такой вязкой, вбирающей в себя личность атмосфере тоски и скуки внутренняя вертикаль моральных ценностей расшатывается, пока не демонтируется вовсе, высвобождая пространство для нигилизации. Когда человек уже заранее знает о бесплотности любого возможного поступка (не так важно, касается ли он политического, социального, религиозного или личного пространства), когда человек понимает, что он незначителен, что есть что-то (или кто-то), стоящее *над* ним, перед которым он совершенно бессилен, то внутри него зарождается

инертная, ни на что не претендующая, ленивая модель поведения. Это летаргический, пассивный нигилизм, разъедающий скучанием личность, *ослабляющий* его до абсолютного нравственного вырождения, до предела духовной лени.

Однако, с другой стороны, скука может выступать и в качестве своеобразного морального двигателя, «метафизического повода» для человека быть больше, чем биологическое существо. Застигнутый скукой бездельник, томясь этим состоянием, оказавшись на пределе его невыносимости и вплотную столкнувшись с тупиком бессмыслия, обретает внутренний стимул, заставляющий его выйти за пределы своей самости навстречу Другому, обретая, а затем и разделяя с ним общие моральные ценности.

Тем не менее важно подчеркнуть и принципиальную невозможность преодоления ленивого скучания через труд на примере позднего модерна, фиксирующего раскол между повседневностью и событием, а значит – и между временем, заполненным деятельностью, и временем, от нее свободным; скука демократизировалась (превратившись в своеобразную эпидемию современности), перестав быть маркером аристократизма, углубившись вместе с механизацией повседневности. Подлинное «спасение» от ленивого скучания возможно не в беспрестанной деятельности (такой путь лишь углубляет метафизическую усталость), а, как настаивали М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр и И. Бродский, в настройке на еще более глубокую скуку, поскольку именно через предельное погружение в это состояние возможно самообнаружение бытия. Через праздное погружение в скуку человеку открывается смиренное осознание своей тщетности, малости, из которого рождается требование любовной заботы о Другом.

Литература

- Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки. Ч. 2. СПб., 1879.
- Апресян Р. Г. Удовольствие // Этика: Энциклопедический словарь / под общ. ред. Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова. М., 2001. С. 502–503.
- Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. СПб., 1992.
- Большов Ф. О. Философия экзистенциализма. СПб., 1999.

- Бродский И. Похвала скуке // Знамя. 1996. № 4. С. 9–13.
- Глебкин В. В. Категория скуки у Паскаля и Хайдеггера // Вопросы филологии. 2015. № 1. С. 34–45.
- Достоевский Ф. М. Бесы. Приложение. Ненапечатанная глава «У Тихона» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.magister.msk.ru/library/dostoevs/dostf42.htm> (дата обращения: 03.02.2019).
- Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 15 т. Т. 15. Л., 1996.
- Иоанн Кассиан Римлянин. Послание к Касторю, епископу Аптскому, о правилах общежительных монастырей [Электронный ресурс]. URL: <https://predanie.ru/ioann-kassian-rimlyanin-prepodobnyu/book/67891-ioann-kassian-tvorenija/#toc11> (дата обращения: 04.03.19).
- Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
- Кант И. О способности духа силою только воли побеждать болезненные ощущения / И. Кант // Трактаты и письма. М., 1980. С. 298–318.
- Кант И. Лекции по этике. М., 2000.
- Краус В. Нигилизм сегодня, или Долготерпение истории. Следы рая. Об идеалах. М., 1994.
- Кьеркегор С. Или – или. Фрагмент из жизни: в 2 ч. СПб., 2011.
- Паскаль Б. Мысли. М., 1995.
- Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М., 2000.
- Свендсен Л. Философия скуки. М., 2007.
- Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., 2008.
- Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. Мир – конечность – одиночество. СПб., 2013.
- Хюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики. Минск, 2000.
- Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. I. М., 1993.
- Юханнисон К. История меланхолии. М., 2011.
- Dorfman E. Foundations of the Everyday: Shock, Deferral, Repetition. London; New York, 2014.
- Sharp C. Ironic Representation, Authorial Voice, and Meaning in Qohelet // Biblical Interpretation. 2004. Vol. XII. I. Pp. 37–68.